

Н.С.Лесков

Дурачок

Рассказ

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что "дурак - слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут...". В подкрепление такого толкования приведен словесный пример: "Он был и будет дурак дураком". "Дурачок - смягчение слова дурак". Ученее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют... Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу.

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы "всем помогать"; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, - у нас зимы бывают лютые, - когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

- Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь?

А он шутя отвечает:

- Как так "с ухой"? - он, гляди-ко, с чистой водицею.

- А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнет и отвечает:

- Ну, вот еще чего!.. Я и так наелся, - слава те Господи!

Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаречно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

- Ему ведь ничего, - он дурачок.

- А чем же он дурачок?

- Да всем...

- А например?

- Да что за пример! - вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему... и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезочки из бересты, - однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке - сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает:

- Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь - я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание.

Вот раз летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают...

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, - сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили "творожничком" - словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром "на росу", и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон - он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит:

- Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам. Сказал это и уехал.

А Петруша так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорит он Паньке:

- Брат милый, Панюшка, очень страшно мне... скажи, как мне быть?

А Панька его по головке погладил и говорит:

- И мне тоже страшно было... Что с этим делать-то... Христа били...

А Петруша еще горче плачет и говорит:

- Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я в воду кинуся. А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал:

- Ну, постой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей сбегая, за тебя постараюсь, - авось тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петруша спрашивает:

- А как же ты, Панюшка, постараешься?

- Да уж я штуку выдумал - постараюсь! И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идет, улыбается.

- Не робей, - говорит, - Петька, все сделано; и не ходи никуда - с тебя наказание избавлено.

Петька думает:

"Все равно: надо верить ему", - и не пошел; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе:

- Что, пастушонок утром приходил сечься?

- Как же, - говорит, - приходил, ваша милость.

- Взбрызнули его?

- Да, - говорит, - взбрызнули.

- И хорошо?

- Хорошо, постарались.

Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

Что же, - говорили, - уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать.

Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

И так он все и дальше жил.

Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются - всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится:

- Велите, - говорит, - меня отвести в город - в солдаты отдать.

- Что же тебе за охота?

- Да так, - отвечает, - очень мне вдруг охота пришла.

- Да отчего? Ты обдумайся.

- Нет, - говорит, - некогда думать-то.

- Отчего некогда?

- Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, - обо мне плакать некому, - я и хочу идти.

Его отговаривали.

- Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся. А он отвечает:

- То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся. Еще раз сказали ему:

- Утешай-ка лучше сам себя да живи дома! Но он на своем твердо стоял.

- Нет, мне, - говорит, - это будет утешнее.

Его и утешили, - отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, - с любопытством их стали спрашивать:

- Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?

- Как же, - говорят, - видели.

- Небось, смеются все над ним, - какой увалень?

- Да, - говорят, - на самых первых порах-то было смеялись, да он на все на два рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл... Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит:

- Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте. Рекрута его стали дружно похлопывать:

- Какой, мол, ты ласковый!

А наутро он раньше всех в казарме встал, да все убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали: "Что он у вас дурачок, что ли?"

Сдатчики отвечали:

- Не дурак, а... малость с роду так.

Так Панька и пошел служить со своим дурачеством и провел всю войну в "профосах" - за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти.

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдали, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей

продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел - казнил, кого хотел - того миловал.

За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такую страшную казнь, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого Хабибулу, окованного в конских железях. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке настрого:

- Береги этого человека как свою душу! Понял? Панька говорит:

- Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.

Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:

- Вот до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвечает:

- Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.

- Как это "некогда"! Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет... В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет все хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.

- Нет, - говорит, - уже про это некстати и думать теперь!

- Да отчего же некстати-то?

- Да оттого, что я окован и смерти жду.

- А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:

- Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя "как свою душу берег", а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает - вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься, а если станешь опять зло творить - ну, уж тогда не меня обманешь, а Господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на коня, в сказал:

- Ступай с миром на все стороны.

А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, - и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей свитой.

Осмотрелся Хан и спрашивает:

- А где Хабибула?

Панька отвечает:

- Я отпустил его.

- Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?

- Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего... Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу,

чтобы других мучили, - вот возьми меня и вели меня вместо его мучить, - пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других никого не боюсь ни капельки.

Тут Хан-Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим:

- Подойдите-ка все поближе ко мне; я вам скажу, что мне кажется.

Татары вокруг Хана-Джангара стеснились. А он сказал им потихонечку:

- А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был...

- Да, - отвечали татары все одним тихим голосом, - нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновение всем нам ясен стал: он ведь, может быть, праведный.